

Леонид Андреев

Два письма



Леонид Николаевич Андреев

Два письма

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146618

Аннотация

«Вы хотели объяснения, и вот оно. Я знаю, вам станет холодно и больно, вы будете плакать весь нынешний вечер, а может быть, и завтра – но мне не жаль вас, нет. Вы слишком молоды, чтобы стоило вас жалеть. Молодо ваше сердце, молод смех и молоды слезы, и я не могу вас жалеть, не упрекайте меня в сухости. У одной молодой особы, подобной вам, я видел письмо, подобное моему – или в этом роде, – и на письме были следы ее слез. И на том же письме был другой поздний след: кружок от чашки кофе, которое любила пить молодая особа... и знаете, сколько лет прошло между горькими слезами и уютным кофе? Один год. Один год, моя дорогая...»

Содержание

I. Все приходит слишком поздно	4
II. Я не хочу, чтобы слишком поздно	20

Леонид Николаевич Андреев Два письма

I. Все приходит слишком поздно

Вы хотели объяснения, и вот оно. Я знаю, вам станет холодно и больно, вы будете плакать весь нынешний вечер, а может быть, и завтра – но мне не жаль вас, нет. Вы слишком молоды, чтобы стоило вас жалеть. Молодо ваше сердце, молод смех и молоды слезы, и я не могу вас жалеть, не упрекайте меня в сухости. У одной молодой особы, подобной вам, я видел письмо, подобное моему – или в этом роде, – и на письме были следы ее слез. И на том же письме был другой поздний след: кружок от чашки кофе, которое любила пить молодая особа... и знаете, сколько лет прошло между горькими слезами и уютным кофе? Один год. Один год, моя дорогая.

Теперь вы верите, что я устал? Только усталые так равнодушны к молодым слезам, к целому году красивого молодого траура; только у них так тяжела холодная рука. Мертвец не замахивается и не дерется, но

падение его вялой руки тяжелее удара. Да, я устал. Вчера, когда вы стучались в мою дверь, я был дома, один, в темноте, и не спал. И я слышал ваш голос и шуршание вашего милого платья... Я почти слышал печальный и испуганный стук вашего сердца, бившегося о немую закрытую дверь. Но я не встал и не открыл вам, и с таким же успехом вы могли бы стучаться в надмогильный камень: отсюда не выходят. Нет, это не та усталость потрудившегося, за которую вы так нежно упрекали меня, отнимая работу, это не сон утомленной силы, покой перед движением: это усталость всей жизни, и за всю жизнь, тяжелый покой после движения, холодный коридор, в конце которого дверь Смерти. Будто сразу навалились на меня все прожитые года, будто за один час я сделал все мои шаги, которыми шагал по округлости земли, написал все мои картины, испытал все печали и радости моего бурного бытия. Сердце не хочет биться, вы понимаете, дорогая? Устало каждым биением своим, как башенные старые часы, по которым слишком долго узнавалось время.

Бывают такие дни у уставших. Сегодня я уже двигаюсь, и глаза мои желают смотреть, подсматривают красоту облаков, а рука уже тянется к кистям, и натянутый холст кажется соблазнительным. Что делать глазам, как не смотреть? Что делать руке, как не рабо-

тать? И сегодня я уже заходил в парикмахерскую, – о, сколько работы будет у кауферов в день воскресения мертвых! – и мой Жан правильно заметил, по окончании обряда: «Вот вы и помолодели». Да, я помолодел, глаза мои лгут светло и ясно, и весь я, как цыганская лошадь на ярмарке, восторгающая покупателей своим бравым видом; и нужен очень злой и очень внимательный взгляд, чтобы заметить тень смертельной усталости на этом мирно сияющем лице. Выразусь поэтически: всю ночь среди цветов спала змея, но кто наутро догадывается об этом?

И постучись вы сегодня, я, пожалуй, слишком поспешно открыл бы дверь; и снова весь долгий вечер успешно обманывал бы вас и себя, бога и людей, смерть и любовь. Вы помните нашу прогулку, когда я, опережая вас, таким молодцом взбежал на очень высокий бугор? Задыхаясь от перебоев сердца – для стариков очень опасны такие эксперименты, – я ждал наверху лавров из ваших рук, как греческий юноша на ристалище, но вы даже не заметили моей прыти, для вас это было так естественно! Конечно, это было непроходимо глупо, и сегодняшняя моя ложь была бы искуснее, я уже чувствую во рту ее сладкий, хлороформенный, наркотический вкус. Я говорил бы о моих будущих картинах. Как модный тенор на свидании фальцетом напевает арийки, – что делать тенору, как

не петь? – я фальцетом писал бы картины, сверкал глазами, вдохновлялся и лгал людям и бегу, как последний пройдоха. Чтобы согреть ваши милые и детски мудрые глаза, я готов стать гением на целый час! Но это простое мошенничество, мой друг, простое мошенничество. Я не гений. Какие картины? Я больше никаких картин не напишу.

Я устал. Не говорите это моим покупателям на базаре, мне еще нужно дотянуть рабочий день... но я ужасно устал. Все слишком поздно приходило в моей жизни, и не гневайтесь, моя дорогая, не плачьте, моя девочка: мне не нужна ваша любовь. И как хорошо, что о ней не сказано было ни слова и проклятое семя лжи не возшло: какие это были бы ужасные, презренные цветы! Дорогая моя, я все видел. Вот уже месяц – или больше? – вы мучительно ищете предлога и минуты, чтобы открыться мне и сказать: люблю. Вот уже месяц я, как искусный донжуан и как самый негодный трус, наслаждаюсь видом этой борьбы, подталкиваю вас, внушаю жестами гипнотизера еще большую любовь, подвожу к самому краю – и со страхом бегу, просто-напросто удираю. Волосы поднимаются на моей голове, мне трагически страшно, ибо гонят меня Эвмениды, но бег у меня мелкой трусцой, как у жалкого карманника, которого преследует полиция. Вы заметили, что в начале каждого нашего вечера говорите

вы, а я молчу, к концу же я болтаю, как одержимый болтливостью, как резонер в дурной пьесе, а вы молчите, растерянная, немая, печальная, не знающая, за что схватиться в этом море слов? И так, молчащую, я выпроваживаю вас за дверь, лицемерно задерживаю вашу руку, холодную от печали и недоумения, и поспешно запираюсь: на сегодня я спасен. Вы тотчас же уходите от двери, или еще стоите? Я уйду тотчас же. Но на той неделе – вы помните? – я минут десять стоял перед этой дурацкой дверью, за которую сам только что выпроводил мое последнее, но слишком, слишком запоздавшее счастье. Кажется, впервые понял я, что такое *дверь*, когда минут десять посмотрел на ее освещенную плоскость; и, услышь я вздох ваш... Нет!

Все приходит слишком поздно.

Мой поезд отходит только утром, чемоданы упакованы и ящик с красками далеко, и мне нечего делать всю ночь: крайне удобный случай для последней вспышки резонерства. Послушайте, что это значит. Когда я был мальчиком лет семи или восьми, я до страсти любил мятные дешевые пряники, продававшиеся на нашей глухой улице, в маленькой лавчонке; назывались они почему-то «жамками», и на копейку их давали две штуки. И не знаю я, почему у меня никогда не хватало копеек, чтобы наесться досыта: родители мои были в ту пору не бедны и ни в чем дру-

гом я не терпел недостатка, но на жамки у меня всегда не хватало. Конечно, это было маленькое безумство, детская мания. Но помню мои мечты о жамках и черную зависть к тем, кто их ел; помню их необыкновенный вкус и вид, эту тоненькую известковую корочку, мягко ломавшуюся под пальцами, помню мое томление о миллионе жамок, целой горе пряников! Вероятно, я ел их много, но мне хотелось еще больше, еще больше; и до сих пор, через многие десятки лет, мой голод остался неудовлетворенным. Вы понимаете это? Я могу купить этот миллион жамок, и иногда я, правда, покупаю фунт или два, – и их съедает прислуга: этих мне не надо, эти чужие, и вкус их мне не знаком.

Пришло – но слишком поздно. Все приходит слишком поздно, и мои милые жамки были только звоном к началу этого дурацкого спектакля. Хотел я дальше путешествовать... и как хотел! Вам понятна эта страсть к новым странам и новым берегам, и я не раз подмечал в ваших глазах, когда рассказывал о моих скитаниях по Европе и Америке, этот безумный огонек любопытства, жажды бесконечного движения, покорную и священную жадность человеческой души, брошенной на землю для блуждания. У номадов и прирожденных авантюристов этот огонек превращается в пожирающее пламя, но у меня он, вероятно, только

тлел, как и полагается у культурного юноши, который отечеству на пользу и родителям на утешение; и никуда я не поехал, пока не окончил всех полагававшихся мне курсов. А когда поехал...

Правда, очень приятно и удобно ехать в международном вагоне или на подкованных туристских подошвах бродить по Тиролю, и это совсем, до полного обмана, походит на путешествие. Но отчего, когда я гляжу в зеркальное окно вагона, я всегда вижу призрак студента с голодными глазами, который быстро и безнадежно стремится за поездом, бесследно исчезает на шумных остановках – и снова несется за поездом, мелькает, как маленькая тень над солнечными долинами Арно, над стремнинами Норвегии, над бурным простором Атлантиды? Ибо пароходы он преследует так же, как и поезда, и только в Гранд-Отелях и пышных Эксельзиорах его никогда не увидишь. И как скучен становится мир, в котором турист заменил авантюриста и мертвые души, вместо Харона, перевозит Кук!

Пришло – но слишком поздно. Все приходит слишком поздно, и в этом разгадка моего отчаяния. Любовь... Да, любовь. Вот проклятая богом страна, где опоздание служит законом, где ни один поезд не приходит по расписанию и начальники станций в красных шапках – все сумасшедшие или идиоты. Но здесь и

сторожа сошли с ума от крушений! Опаздывают все признания и поцелуи, всегда слишком ранние для одного и слишком поздние для другого, лгут все часы и встречи и, как хоровод пьяных призраков, одни бегут по кругу, другие догоняют, хватая воздух протянутыми руками. Все в мире приходит слишком поздно, но только любовь умеет минуту запоздания превратить в бездонную вечность вечной разлуки!

Я мало рассказывал вам о моем большом прошлом, да и сейчас не стану тревожить его: там много мертвых, а к мертвым я начинаю чувствовать симпатию, и покой их мне кажется достойным уважения. Но одной женщине я и в могиле не дал бы покоя, такая это была глупая, невообразимо глупая женщина; и если она умрет, а я еще буду жив, я найму человека с палкой, который все время, день и ночь, будет стучать в ее могильный камень, не даст ей спать ни днем, ни ночью. Вы подумайте, моя дорогая, она сумела опоздать на целых шесть лет! Шесть лет я добивался ее любви, все силы души обратил на служение ей, а она шесть лет упиралась, опаздывала на вымоленные свидания, выходила за кого-то замуж, разводилась, опять выходила. И последний на свете, о ком она думала, был я с моей любовью. Целых шесть лет! Я не стану будить вашу милую ревность слишком длинным рассказом о глупостях, которые я

проделывал с видом жалким и безумным... да, я был жалок и безумен, как и все в этой проклятой стране неверных расписаний и ежеминутно сшибающихся поездов. Скажу только, что последним моим безумством был гашиш, увлекший мое сердце в еще более дикую страну пленительных ужасов и ужасающих очарований; а когда я вернулся оттуда, я был костляв, как манекен, и желт, как охра, и спокоен, как турок. Вам случилось видеть старые деревья при большой дороге, в которые ударила молния: зелень ветвей – и черное обугленное дупло на месте сердцевины. Я выжег мою любовь, дорогая, и до сих пор, если нет под рукой лучшего занятия, с гордостью вспоминаю мою героическую борьбу и славную победу.

А она – она тем временем полюбила меня. Это ничего, что между нами было две тысячи верст расстояния и что возле нее вертелся какой-то второй не то третий муж – она полюбила меня, как немного подержанная Маргарита не совсем свежего Фауста. Я не захожу в кабинет черта и не знаю его планов; и я решительно не могу вам объяснить, какой смысл был в его затее: вероятно, обыкновенное желание напакостничать – не больше. Но она нашла меня и приехала со скорым поездом, – она очень торопилась! – и две недели под превосходным небом Италии совершалась одна из нелепейших комедий, какие толь-

ко может создать человеческий гений. Простите эту глупую женщину, моя дорогая: она столько плакала и страдала.

Да, это была пора необыкновенных удач для желтого, как охра, манекена. В то же самое время, как и женщина, и, по-видимому, в одном и том же скором поезде, прибыла ко мне и другая запоздавшая любовница: моя слава. Я вам много рассказывал о том времени, и вы помните этот быстрый ряд ослепительных вспышек: выставка в Риме, выставка в Венеции и Париже, и всюду мое имя, и огненные транспаранты, и бенгальский огонь – просто чудеса! Да, еще кресло академика, очень много денег и очень много портретов на скверной бумаге дешевых газеток, где я похож на побледневшего негра... еще недавно я смеялся над одним из этих беззлых изображений, а вы с удивлением и порицанием смотрели на меня: это грязное типографское пятно казалось вам пределом человеческой красоты и славы. Еще бы, все видят, даже те, кому это и не нужно. Но что еще я должен перечислить в доказательство моей славы? Да, собственный автомобиль, чуть не свернувший мне шею; я продал этого убийцу. Вилла с ревматизмом на берегу моря? Живые цветы на столе, портящие воздух моей мастерской? Прежде я любил цветы... прежде, прежде!

Говорить ли вам, моя светлая, что и это пришло

слишком поздно? Вы так искренне и наивно чтите мою осеннюю славу, в ваших ясных глазах гордость и сияние, когда вы идете рядом со мною, и вам ли понять, очарованной, что эта чудесная и такая вкусная слава вдруг может быть ненужна! А это так, моя светлая, и уже давно хорошую и толковую экономку я предпочитаю этой шумливой и нечистоплотной хозяйке, не умеющей приготовить даже сносного обеда. А как распущена прислуга! А сколько грязных следов так и остается на моем паркете: вместо того чтобы стереть их мокрой тряпкой, моя глупая хозяйка обводит их контуры углем и кроет фиксаживом... иначе новые посетители могут и не поверить в мою славу!

Впрочем, все старые мужья любят бранить своих молоденьких жен, и очень возможно, что моя молодая слава вовсе не такая кокетка и что она даже серьезная особа с маленькими невинными странностями. Честная жена. Но у этой честной жены одна вина: она пришла слишком поздно и не тогда, когда ее так жгуче хотели, не тогда. Где она была, когда я ее звал днем и ночью? Где скрывалась она, когда я искал ее на всех моих полотнах и ловил в равнодушных глазах, мертвивших мои картины, отнимавших язык у моих красок? Шаталась с другими, которые также ее не хотели?..

Извините за грубое слово, моя дорогая, в его горечи

мое оправдание: бог с ней, с этой запоздавшей, пусть шумит и пляшет. Я устал, как землекоп к закату солнца, чемоданы мои упакованы для дальнего пути, и я расстаюсь с вами навсегда, и оттого я так зол и возмутительно несправедлив. Пусть шумит. Но одно – вы позволите? – я все же не могу не поставить ей в упрек: зачем она так подняла цену моих картин. Вы понимаете это: у меня много денег, но я беден для того, чтобы купить собственные картины... так они дороги и доступны только богачам! И особенно те первые, потухшие, своевременно не узнанные, которые я продавал за вязанку дров для железной печки в моей ледяной мастерской. Ими особенно дорожат коллекционеры, и еще недавно, в приливе старческой сентиментальности, я любовался одним из этих драгоценных эскизов: добрый коллекционер пустил меня посмотреть, объяснил достоинства и обещал пускать и впредь, когда я захочу, – очень добрый и милый невежда, коллекционер. Очень жаль, что я не пошел с вами; в окна так хорошо светило солнце, и был виден двор, поросший зеленой травой.

Все приходят слишком поздно, и в этом разгадка моего спального места и завязанных чемоданов. Нет, это не дорожные вещи, это моя старость, мое отчаяние и мертвая усталость, которые я потащу куда-то, и напрасно носильщики будут жаловаться на их тя-

жесть – я и сам хотел бы, чтобы они были немного полегче, немного полегче. Ночь кончается... вы уже все поняли, моя дорогая?

О нет, конечно, вы не поняли, и вы правы. Что вам до какой-то глупой женщины, опоздавшей на шесть лет, до моей усталости и ворчливых жалоб на хорошенькую славу? Это только предисловие для вас с особой нумерацией страниц, и настоящее начнется только там, где я заговорю о вас: вот это будет дело, и тут вы согласитесь понимать. Не правда ли, моя дорогая? Пусть будет так: закроем предисловие и перейдем к роману.

Итак, вы меня любите. Это правда? Да, это правда, и я бесстыдно волнуюсь, вычеркивая это слово: любовь. Пусть смысл его давно потерян для меня, но в самом звуке его столько магии, столько священного чародейства, что не может остаться спокойным сердце смертного и отзывается боем, как часы, проснувшиеся среди ночи. Двенадцать – говорят они. Полночь – говорят они: солнце на той стороне земли, загни снова, солнце на той стороне земли... Но, право, я сбиваюсь и все продолжаю раздражающее предисловие, ибо не в том дело для моей читательницы, что она меня любит, она же это знает, а в том: что я ей скажу. Да – вот что я ей скажу?

Извините, я слегка волнуюсь и... да, я тоже люблю

вас.

Что же поделаешь, люблю. Но я ужасно устал... нет, не то. Не находите ли вы, что вы родились несколько поздно для меня – да, слишком поздно? Я высчитал давно уже: это опоздало на двадцать восемь лет, я хочу сказать, вы опоздали родиться ровно на двадцать восемь лет. Понимаете, дорогая: вас еще не было, просто не было, когда я уже был, и давно был. Вы не находите, что тут кроется какая-то нелепость?.. Я сказал бы преступление: если бы знал, кто преступник. Я уже все знал, носил бороду, и у меня уже был парикмахер, ездил один на извозчике, и что-то еще: пил вино, вообще, был – а вас еще не было. Подумайте: уже семена усталости были брошены в мою душу, а вас все еще не было, все еще! Потом какая-то девочка с двумя косичками ходила в маленькую школу и играла в куклы – это появились вы на свете божем. Но такая маленькая, что об этом не стоит и говорить: косички и куклы. Боже мой, косички и куклы!

Потом, став прекрасной, вы пришли ко мне, просто отворилась дверь однажды, и в ней появились вы, ставшая прекрасной. Вы не находите, что и здесь кроется какая-то нелепость: зачем вы, и именно вы, родились такой прекрасной, как раз такую, точь-в-точь такую, какую мне всегда нужно было? Я уже решил, что нет такой, какая мне нужна, и вдруг открылась

дверь... бессчетно открывалась она, как самая обыкновенная дверь. И что же с ней случилось в этот раз? Кого она впустила? Поверьте мне, дорогая; мне не понадобилось годов, чтобы узнать вас, – в одно мгновение я и вас узнал, узнал и то, что вы пришли слишком поздно, что это несчастье. Так Данте увидел свою Беатриче... Но вы пришли слишком поздно, чтобы застать хоть кусочек его души, – он всю ее роздал другим, он нищий, Беатриче!

Он нищий, Беатриче, – написал я. И прежде, написав такое, я, вероятно, заплакал бы или пошел искать яду, а сейчас... сейчас я посмотрел на часы и глубоко задумался о том, успею ли я позавтракать перед отъездом: мне весь день бывает нехорошо, если с утра я не поем. Вы понимаете или все еще не поняли? Это значит: я солгал вам, сказав, что я тоже вас люблю. Я никого не люблю и ничего не хочу, кроме одиночества и покоя, покоя и смерти, или как называется это, где уже никто не мешает, и не зовет, и не приходит ни поздно, ни рано. Я устал.

И снова я прошу извинения за невольную резкость, моя дорогая: бессонная ночь отзывается на нервах и рождает подобие каких-то ужасов и страстей. Их нет во мне, это простое актерство, и есть только одно: усталость землекопа на склоне дней, когда заходит багровое солнце. Пойду и я за ним, и вот и все, и больше

ничего не надо ни спрашивать, ни говорить... больше ничего, моя дорогая! Прощайте. Я целую вашу руку. Да, это правда: я целую вашу руку.

Что еще? Вот вы придете – и моя комната пуста... Нет, не это. Все. Прощайте. Будьте прекрасной для других, но для меня вы пришли слишком поздно... все приходит слишком поздно, моя дорогая, все приходит слишком поздно!

Мое имя – ложь, и я не подписываю его. Зовите меня:

Ушедший».

II. Я не хочу, чтобы слишком поздно

...Это возмутительно! Вы внезапно уехали, не поговоривши со мною, и даже не оставили адреса, куда писать. Что мне теперь делать – я просто не понимаю. И кроме того, вы прекрасно знаете, что я не умею писать, и какая правда может быть в письме?

Послушайте, зачем вы все это сделали, не поговоривши со мною! Какие глупости. Если бы я знала, что вы можете быть так внезапны, я совсем не отошла бы от вашей двери и сторожила бы вас день и ночь. Вы утром уехали? Правда, я пришла еще до вашего письма, а квартира пустая, и это показалось мне ужасным, я просто не видела дороги, когда возвращалась, меня мог задавить автомобиль. Слава богу, что вы еще живы... Но где вы? На пароходе или на поезде? Я так привыкла всегда знать, где вы находитесь, и теперь мне очень странно. От того, что я этого не знаю и просто потеряла вас, как какое-то портмоне, я временами как будто теряю язык и молчу. Куда говорить? Сегодня на всякий случай я позвонила в ваш телефон, и мне, конечно, ответили, что трубка снята, не отвечают. Еще бы!

Вы такой умный, и как вы не поняли, что я все знаю? Во-первых, тогда, на бугре, я прекрасно заметила, что вам трудно взбегать на гору, и нарочно шла медленнее, чтобы вы не торопились, а вы все-таки бежали и, конечно, запыхались. Вы были такой милый тогда, и мне было так жаль, что вы побледнели, потому что этого совсем не нужно было. Разве я не знаю, сколько вам лет, вы сами тысячу раз повторяли это, так что невольно запомнишь, но как будто это имеет для меня значение! Будто мне это нужно, чтобы вы умели быстро взбегать на гору! И про это я знала, когда стучалась, что вы дома и нарочно мне не отвечаете, потому что очень устали и никого, и особенно меня, не хотите видеть. Но разве и это так плохо, когда человек устал? Скажу вам, что если бы у вашей усталости были руки, я поцеловала бы их так же, как целую руки у мамы, но только вы очень, вы очень не просты!

Например, вы думали в этот вечер, что я приду и буду хотеть вашего ухаживания, а вам это трудно. Еще бы, когда так устал человек, что чувствует себя почти мертвым! Нет, я даже смотреть на вас не стала бы, а только тихонько сидела бы в другой комнате и читала, даже не шевелилась бы, чтобы не шуршать платьем, и только узенькой полоской шел бы свет от двери, – это я сижу. И вообще, вы напрасно старались так много говорить, я все равно знала, что вы меня лю-

бите, и около двери, когда вы стояли десять минут, я тоже стояла с другой стороны, но не вздыхала, а улыбалась от счастья. Такой вы были милый, я так вас любила!

Но поступок ваш безумен. Безумен! Будем с вами логичны. Если жизнь ваша так несчастна, что все в ней приходит слишком поздно, то с этим надо бороться, а не делать самому, чтобы и другим выходило слишком поздно. Вы понимаете? Я не хочу, чтобы для меня было поздно. И что хорошего было бы, если бы я родилась на двадцать восемь лет раньше, а по вашему расчету так и выходит. Нет, какие пустяки! Не говоря о том, что теперь я была бы старухой, мы ведь могли бы, при встрече, даже не полюбить друг друга. Это очень возможно. Кто вы были тогда? Длинноволосый юноша, который всегда в кого-нибудь влюблен без разбора, только бы быть влюбленным. Разве этих длинноволосых и теперь мало, а отчего я не их люблю, а вас?

Какой вы нелогичный, какой безумный! И вы больше похожи на женщину, чем я. Как вы ничего толком не узнали и сразу убежали бог знает куда! Поймите же, что это нарочно так случилось, чтобы мне родиться позже и чтобы при нашей встрече, когда открылась дверь, вы были – *такой*, а я – *такая*. Я ведь тоже помню, когда открылась эта дверь, и я увидела вас – в

первый раз в моей жизни. У вас есть одна улыбка, про которую вы сами не знаете, потому что перед зеркалом такая улыбка выйти не может, и вот когда вы так улыбнулись, для меня сразу кончилась вся прежняя жизнь. Я и славу вашу люблю только потому, что она есть награда не за ваш талант, как вы сами думаете, а за эту улыбку, про которую вы и не догадываетесь. Какой вы милый!..

А теперь мне страшно, вы уехали. Какой безумный поступок! И вдруг я вас никогда не найду, и вдруг вы никогда не прочтете, что я пишу, или письмо придет слишком поздно. Как это страшно! Я не понимаю, как оно может прийти слишком поздно, но вы напугали меня, и мне так печально и страшно, и такой тоской сжимается сердце. Молодое сердце, вы сказали, а разве от этого меньше больно?.. Нет, плакать на письмо я не стану, как ваша молодая особа, и чашку кофе поверх слез не поставлю, а вот если бы я могла быть пулей, я настигла бы вас и вошла бы в самое ваше сердце. Пусть вместе хоронят и убитого и пулю! Неблагодарный вы, недогадливый и даже немного жестокий. Милый вы мой...

Вдруг пишет мне, сам мучается и пишет, что слишком поздно. Не хочу спорить, и пусть ваши мятные пряники будут слишком поздно и эта несчастная женщина в скором поезде – но не я. Я не хочу, чтобы позд-

но. Ах, если бы я умела писать, но такая я неспособная к этому, и когда я пишу, мне самой кажется, что я блондинка и в волосах у меня голубая лента... ненавижу блондинок и голубые ленты! И мне даже немного не нравится, когда вы называете меня «светлая», нет, я вся темная, и в душе у меня другая гамма, чем у блондинок, играть меня надо на черных клавишах, во всяком случае. Но вы это знаете, иначе вы и не любили бы меня, и только мучаете напрасными и жестокими словами. Не хочу я, чтобы слишком поздно, не хочу!

Ну да, я была девочкой с косичками и играла в куклы, когда вы один ездили на извозчике... длинноволосый, довольно противный юноша, мужчина! Но так и надо было для нас обоих. Мне вовсе не улыбается мысль, что я могла бы встретиться с вашей несчастной дамой из скорого поезда и даже соперничать с нею, нет, я хочу быть одна в вашей душе – и последняя, как и вы в моем мироздании – один, первый, последний. Мне даже смешно это: первый, последний... Как будто, вообще, могут быть два света, два смысла, два солнца. Первое солнце, второе солнце, какие глупости! Разве вам не нравится, что всю мою душу освещаете вы один?

Но мне так страшно, что вы уехали. Теперь я жалею, что не сказала вам раньше про мою любовь.

Вы думаете, я очень вам боялась сказать? Правда, немного и боялась, но еще больше мне хотелось смотреть, как вы улыбаетесь, и я все думала, что успею. Ведь вы и не знали, что я все это время была счастлива безумно, и к концу нашего вечера умолкла, и вовсе не от печали и недоумения, а от того, что во мне разыгрывалась постепенно совсем необыкновенная музыка. Я тогда спала с открытыми глазами и вовсе не слышала, что вы говорили о ваших будущих картинах, простите меня, а только видела вас и слушала эту мою музыку. Нет, какой вы ужасно недогадливый.

Мне очень страшно, милый, мне очень страшно. Куда вы могли уехать? Я сейчас опять перечитала ваше письмо, и это ужасно, что вы пишете о вашей усталости, о вашем отчаянии. Слава богу, что вы живы... ведь вы живы, голубчик мой? Где же вы? Я пошлю это письмо «до востребования» и еще напишу десять таких же и разошлю их в разные стороны, пусть бегут по всем дорогам, догоняют вас, стерегут и поджидают. Может быть, пройдет в чужой земле ваша усталость и вдруг вам захочется потребовать какого-нибудь письма, на всякий случай, зайти на почту – и вдруг мое!

Я не хочу, чтобы слишком поздно, и я каждый день буду посылать в разные города по письму... ведь достаточно одного, чтобы вы вернулись, не правда ли,

милый? Вы вернетесь? Вспомните, какая я, и вернитесь скорее, скорее. Мне страшно одной и без вас, вы напугали меня. Я верю, что мое письмо вовремя настигнет вас, но вдруг почему-то окажется поздно,... это может оказаться, я не знаю? Почему может оказаться так? Или я могу умереть прежде, чем вы прочтете и приедете? Или что? Что еще бывает? Что может быть?

Я не могу писать от страшных мыслей. Вдруг с вами что-нибудь случится или уже случилось... ведь я ничего не знаю, где вы, кто возле вас, как вы едете. Море, оно такое страшное. Земля тоже страшная, и поезда ходят так быстро. Один, без меня. А вдруг, когда вы получите письмо и захотите вернуться и уже будете ехать, произойдет крушение... Нет, это невыносимо думать, я не хочу!

Возвращайтесь немедленно. Пришлите телеграмму, как только получите, я буду ждать. Или я сама поеду тогда к вам, это будет спокойнее, я измучаюсь, милый, пожалейте меня! Я не плачу на письмо, но мне так больно и страшно, что вы не можете не пожалеть меня. Я не хочу, чтобы слишком поздно. Возвращайтесь немедленно, телеграфируйте, спешите, спешите!

Я жду.

Ваши М.

1916 г.